



Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ

М. Е. Салтыков (Щедрин) в 50–60-х гг.

<Фрагменты>

1

Обращаясь к рассмотрению первого периода деятельности нашего великого сатирика <...> остановимся преимущественно на его отношениях к народу. Подобно Некрасову, и *Салтыков в 50-х годах* отдавал дань народничеству, не чуждому некоторого сентиментализма и отпавлявшемуся от известной идеализации мужика. Ноты умиления и смирения, которые мы находим в поэзии Некрасова 50-х годов*, звучат и в ранней сатире Щедрина — в *«Губернских очерках»*, появление которых было крупным событием в развитии нашей общественной мысли. Одним из наиболее ярких выражений народнических идей сатирика справедливо признается очерк «Богомольцы, спутники и проезжие» («Полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова», Спб., 1900, т. I, стр. 238 и сл.). — Сатирические стрелы направлены здесь не на народ, а на другие классы. Напротив, изображение народных типов согрето горячею любовью к простому человеку и проникнуто чувством уважения к крестьянской массе, в которой сатирик открыто признает наличие положительных качеств, недостающих другим — верхним — слоям. Он говорит: «Я вообще чрезвычайно люблю наш прекрасный народ и с уважением смотрю на свежие и благодушные типы, которыми кишит** народная масса» (стр. 243). Услышав, как один мужичок сказал другому, что взяли в солдаты его Матюшу, который «был добрый парень, робил непрекословно, да и в некруты непрекословно пошел», — Щедрин рисует картину, живо напоминающую — по настроению и точке зрения — соответственные места у Некрасова. «Воображению моему вдруг представляется этот славный, смирный парень Матюша, не то чтоб веселый, а скорее боязливый, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодрого и сильного... вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви Божьей,

* См. ч. I, гл. XII.

** Курсив мой.

стоящего скромно и истово знаменующегося крестным знаменем...» (стр. 245).— Вникая во внутренний мир мужика, Щедрин, подобно Некрасову, умиляется перед его наивною и глубокою верою, перед чистотою его религиозного чувства. <...> Очерки «Отставной солдат Пименов» (там же, стр. 255–267) и «Пахомовна» (267–273) рисуют духовный склад крестьянина в архаическом, но в высокой степени привлекательном виде. Михайловский в известной статье «Щедрин»¹, цитируя некоторые места из этих очерков, отмечает между прочим то, что они написаны в народном стиле, эпическим складом. Щедрин здесь не говорит о народе от своего имени, а заставляя самый народ говорить о себе и за себя. — Самое отношение Салтыкова к народу в то время Михайловский склонен назвать «бессознательным», поясняя это так. «Чиновничество и помещики сразу отделились для него в особую от собственно народа группу. И немудрено: он видел крепостное право и крымскую войну. Но затем он бесхитростно и правдиво рассказывал виденное и слышанное им в народной среде, не теоретизировал ни в каком направлении, не пытался анализировать ни свои чувства, ни предмет, их возбуждавший. Он просто любовался поэтической цельностью веры какого-нибудь отставного солдата Пименова и других богомольцев и странников или отчаянною и опять-таки поэтической удалью героя «Развеселого жителя»*. Это любование осложнялось лишь скорбью о том гнете, под тяжестью которого изнывает народ...» («Соч. Н. К. Михайловского», Спб., 1897. т. V, стр. 174).— Может быть, отношение Салтыкова к народу в то время лучше было бы назвать не «бессознательным», а только «непосредственным»; сознательное сочувствие народным массам, вообще демократическое направление мысли установилось у Салтыкова еще в 40-х годах, под разнообразными влияниями умственных течений эпохи, в ряду которых видная роль принадлежала идеям так называемых *утопистов*, главным образом — Фурье**.

* Из «Невинных рассказов», относится к 1859 г.

** Влияние утопистов на Салтыкова прекрасно выяснено В. П. Крапихфельдом² в его, к сожалению, неоконченном исследовании «М. Е. Салтыков (Н. Щедрин)» («Мир Божий», 1904 г.). См. главы IX и X («Мир Божий», 1904, июнь, стр. 60 и след.), где указано значение и размеры движения в конце 40-х годов, известного под именем «заговора идей» и выражавшегося всего ярче в стремлениях и настроениях кружка Петрашевского. Салтыков был знаком лично с Петрашевским, посещал собрания кружка и усердно изучал литературу утопистов. Характеристике «утопизма» Салтыкова посвящены главы XI и XII исследования г. Крапихфельда, к которым, как и к соответственным страницам Михайловского, я и прошу обратиться читателей, интересующихся этою стороною идеологии великого сатирика.

Но независимо от этого у Салтыкова живо проявлялась, так сказать, стихийная, прирожденная любовь к *русскому* (точнее *великорусскому*) народу, — такая же, как у Некрасова. Обоим писателям был по сердцу русский мужик, в отношении к которому у них не было никаких классовых предубеждений. Салтыков, конечно, желал всех благ всем народам, но к русскому народу у него было, по выражению Михайловского, «безотчетное тяготение», сила которого простиралась на весь быт и духовный склад крестьянина, на «всю его, может быть, очень убогую физическую и нравственную обстановку, весь тот хотя бы очень унылый пейзаж, среди которого он проводит свою жизнь» («Соч. Н. К. Михайловского», т. V, стр. 170). <...>

Это и служило *психологическим основанием* той народнической окраски, которою, несомненно, отличался демократизм Салтыкова во второй половине 50-х годов и еще в начале 60-х. Сатирик, по самой натуре своей, оказался восприимчивым к народническому настроению эпохи, сближаясь в этом отношении не только с направлением Некрасова, но также и с *передовым славянофильством*, к которому позже он относился так резко отрицательно. Могло быть и прямое влияние славянофильских идей на него, на что указал В. П. Кранихфельд, цитируя следующее место из письма Салтыкова к И. В. Павлову: «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления. В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития...» и т. д. (В. П. Кранихфельд, «М. Е. Салтыков», «Мир Божий», 1904, № 7, стр. 218). Письмо к Павлову относится к 1857 году, т. е. к одному из тех годов, когда славянофильство, по выражению В. П. Кранихфельда, «привлекало к себе все симпатии лучших прогрессивнейших элементов русского общества». Вспомним, что к этому времени относится сближение и оживленная переписка Тургенева с Аксаковыми, работа Тургенева над «Дворянским гнездом» (о чем у нас была речь в VII главе 1-й части), сочувственные отзывы Чернышевского о славянофилах и другие признаки, указывавшие на возможное соглашение между представителями двух партий, столь резко расходившихся в 40-х годах.

Впрочем, в самой литературной деятельности Салтыкова это увлечение славянофильством не получило сколько-нибудь ясного выражения. Народничество сатирика в ту эпоху гораздо ближе подходило к настроению Некрасова, чем к чистому славянофильству. Поэт и сатирик, можно сказать, шли рядом и в ногу. Это совпадение тем знаменательнее, что оно отнюдь не основывалось на личных связях, которые завязались позже. Салтыков печатал «Губернские

очерки» в «Русском вестнике» Каткова, тогда либеральном, и большею частью жил в провинции. Сближение с Некрасовым началось, по-видимому, с начала 60-х годов, когда Салтыков принял непосредственное участие в «Современнике», где он, впрочем, печатал свои вещи (напр., из серии «Невинных рассказов») и раньше. Любопытно отметить и тот факт, что на первых порах «Губернские очерки» не понравились Некрасову. В письме к Тургеневу от 27 июля 1857 года поэт говорит, между прочим: «...в литературе движение слабое... Гений эпохи — Щедрин... Публика в нем видит нечто выше Гоголя!» (А. Н. Пыпин, «Н. А. Некрасов», стр. 179. Известен также отрицательный отзыв Тургенева о ранней сатире Салтыкова (в письме к Колбасину от 8 марта 1857 года)*.

Тем не менее уже в 6-й книге «Современника» того же 1857 года появилась хвалебная статья Чернышевского о «Губ. очерках». Любопытно отметить, что сам Некрасов, ценивший тогда Салтыкова так низко, в письме к Тургеневу от 30 июня 1857 года говорит: «В № 6 “Соврем.” Чернышевский написал отличную статью по поводу Щедрина...» (А. Н. Пыпин, «Н. А. Некрасов», стр. 173).

<...> ...надлежащая оценка ранней сатиры Щедрина «Современником» была заслугой Чернышевского и Добролюбова³, которые, таким образом, и подготовили почву для сближения Некрасова с Салтыковым, для многолетнего их сотрудничества в ведении двух передовых журналов («Современник» по 1866 год и «Отечествен. записки» с 1868 года), сыгравших такую крупную роль в передовом движении русской общественной мысли.

2

В 60-х годах в демократизме Салтыкова произошла перемена, совершенно аналогичная той, которую мы отметили в поэзии Некрасова**. Народническая окраска пошла на убыль, чувство умиления перед глубиной, правдивостью, простотою народной веры и здоровыми задатками народной психологии не получает уже прежнего — приподнятого и лирического — выражения; зато растет и все ярче проявляется другое, более рациональное и в высокой степени плодотворное отношение к народу, основанное на чувстве *справедливости*. В своих публицистических статьях, печатавших-

* О том, как оба, и Некрасов и Тургенев, вскоре переменили свой взгляд и оценили талант Салтыкова по заслугам, см. у В. П. Кранихфельда («Мир Б.», стр. 9).

** См. ч. I, гл. XII.

ся в «Современнике» (в первой половине 60-х годов), Салтыков неоднократно возвращался к вопросу об отношениях правящих классов к народу, о материальном положении и нуждах крестьянской массы, о ее интересах и т. д. Здесь он решительно восстает против той идеализации мужика и того слащавого, фальшивого народничества, которые наиболее ярко выражались в публицистике и беллетристике славянофилов и так называемых «почвенников». Он прямо заявляет, что «когда говоришь о мужичках, то нет никакой надобности *ни умиляться, ни приседать, ни впадать в меланхолию*»* (А. Н. Пыпин, «М. Е. Салтыков», стр. 145). — Описывая в ярких чертах суровую, скудную, тесную жизнь крестьянина, протекающую в постоянном и неблагодарном труде, под гнетом вечных забот о куске хлеба, вечной неуверенности в завтрашнем дне, Салтыков резко и решительно отвергает всякую надобность «рисовать картинки на розовом масле и вообще идеальничать и поэтизировать». Нужно смотреть на дело проще и «знать доподлинно», «что делает русский мужик и во что ему это дело обходится». Такое отношение к народному вопросу «положит начало чувству более прочному и плодотворному, *чувству справедливости*»**. Это рассуждение завершается следующей бутадой: «Если идеализация, всегда основанная на поверхностном и неполном знании вещей, помогает нам распускаться в умилениях и мечтах о сближениях, то не надо забывать, что нередко та же самая идеализация ведет нас и к мордобитию. Напротив того, знание вещи необходимо отразится и на отношениях человека к ней, и эти отношения будут именно такими, какими они быть должны. Не будет поцелуев, но не будет и оплеух, не будет любви всепрощающей, но не будет и поучений телесных. Будет справедливость, а покамест она только и требуется» (А. Н. Пыпин, «М. Е. Салтыков», стр. 145–146).

Эта точка зрения, основанная на чувстве справедливости и исключая сентиментальное отношение к народу, установилась у Салтыкова, очевидно, под влиянием руководителей «Современника» — Чернышевского и Елисеева. — Белоголовый, в воспоминаниях о Салтыкове говорит: «Салтыков не отрицал, что и он многим обязан в своем развитии Чернышевскому» (Н. А. Белоголовый, «Воспоминания и другие статьи», Москва, 1897, стр. 236; см. также стр. 257). — Публицистическую деятельность Елисеева Салтыков высоко ценил. Когда, после закрытия «Современника», Некрасов за-

* Курсив мой.

** Курсив мой.

думал (в 1867 г.) взять в аренду у Краевского «Отечествен. записки» и пригласить Салтыкова в соредакторы, последний настаивал на привлечении, на равных правах, и Елисеева (Белоголовый, стр. 237).

Переход Салтыкова от прежней — народнической — точки зрения к новой, которую можно назвать «рационально-демократической», отразился в «Сатирах в прозе», печатавшихся в «Современнике» с начала 60-х годов. Здесь прежде всего мы отметим, так сказать, пересмотр вопроса об инстинктивном тяготении ко всему родному, о невольном пристрастии к своей национальной стихии, которое, как мы знаем, было у Салтыкова довольно сильно выражено. — Теперь сатирик, признавая это тяготение и пристрастие как факт, имеющий свое психологическое оправдание, уже не умиляется перед ним, не поэтизирует его, а вышучивает. <...>

Сатирические стрелы Щедрина, раньше направлявшиеся почти исключительно на верхние слои, на чиновников, помещиков и т. д., теперь метят вообще в «глуповцев» как таковых, без различия званий и состояний, и не щадят, где нужно, и мужика. <...> ...идеализация народа, к которой еще недавно так склонен был Салтыков, по необходимости отпадает теперь. Пусть народ не виноват в своей рабьей темноте, в своей дикости и приниженности, но эта тьма, дикость и раболепие — остаются фактом. Его можно объяснить, но обелить его и примириться с ним нельзя. На место еще недавнего «умиления» выступает негодование и — еще больше — презрение, умеряемое однако жалостью. Жалость и симпатия к народной массе, томящейся в непосильном труде, в темноте, в невежестве, и вместе с тем — презрение к тому же народу, как исторической «силе», вынесшей на своих плечах безобразный порядок вещей, его же угнетающий, — вот та руководящая точка зрения писателя-гражданина, которая ляжет отныне в основу грозной и гневной сатиры Щедрина. Это руководящее воззрение он сам выразил весьма определенно в известном письме, опубликованном Пыпиным («М. Е. Салтыков», стр. 11–13), которое он написал (в 1871 г.) в ответ на упреки одного критика, усмотревшего в «Истории одного города» сатиру на историческое прошлое и презрение к русскому народу. <...> «История одного города», которою мы займемся в дальнейшем, бесспорно занимает одно из первых мест в сатирическом наследии Щедрина. Здесь его негодующая мысль и возмущенное чувство обращается не на отдельные стороны или явления современной русской жизни, а на целое, на исторически сложившееся государственное целое России. Это в тесном смысле сатира политическая. Она создалась в конце 60-х годов («Отеч. зап.», 1869 г.), но была задумана или, так сказать, подготовлялась раньше.

Этой подготовкой и явился тот *пересмотр* вопроса о национальном тяготении, о стихийной любви к Глупову, пересмотр, которому посвящена не одна страница «Сатир в прозе», где *Глупов* уже занимает довольно видное место. Сатирик дает злую и яркую картину жизни, нравов и всей дикости, отсталости и спячки глуповцев, разрабатывает психологию глуповца, заглядывает мельком и в доисторические времена Глупова, «историю» которого он напишет впоследствии...

Надо отметить, что в этих первоначальных очерках Глупова сатирик не является безусловным пессимистом. Он даже свидетельствует, что некогда Глупов назывался Умновым. Но уже во времена отдаленные был переименован в Глупов по приказанию Юпитера — за то собственно, что страдал болезненной спячкой, которой чуть было не подвергся и сам Юпитер, однажды посетивший Глупов. Переименованием глуповцы не обиделись и даже преподнесли Юпитеру хлеб-соль. Очевидно, выходит так, что хорошие задатки у глуповцев были, был даже ум; но они осовели от спячки и с течением времени потеряли способность ворочать мозгами. Когда однажды явилась в Глупов Минерва, желая узнать, «какую это думу мудреную думает Глупов, что все словно молчит да на ус себе мотает», — то глуповцы только кланялись и потели. — «Скажите, что ж вы желали бы?» — продолжает вопрошать Минерва. А глуповцы все только кланяются да потеют. — Тогда Бог весть откуда раздался голос, который во всеуслышание произнес: «лихо бы теперь соснуть было!» — Это обезоружило и смягчило богиню, которая от нетерпения начала было уже сердиться и топать ножкой. Теперь она «милостиво улыбнулась». А глуповцы засмеялись тем «нутряным смехом, которым должен смеяться Иванушка-дурачек, когда ему кукиш показывают» (т. II, стр. 646).

От этой-то фатальной сонливости и произошло то, что, собственно говоря, настоящей исторической жизни у глуповцев не было. Они проспали свою историю, как проспали и ум, и другие хорошие задатки, какие у них были некогда (ведь когда-то они назывались «умновцами»). Такой взгляд несомненно отзывается тем историческим романтизмом, который был отличительною чертою славянофильства и также известных течений народничества, идеализировавших архаические формы народного быта.

Итак, «у Глупова нет истории» (645). Впрочем, по рассказам старожил, какая-то история у них хранилась на колокольне, но ее крысы съели. Очевидно, в тесной связи с отсутствием истории находится и тот курьезный факт, что «истинное глуповское мирозерцание состоит в отсутствии мирозерцания». Сатирик не считает

нужным подтверждать это историческими изысканиями, потому что эти последние уже произведены М. П. Погодиным. Но тут выходит недоразумение, которое сатирик отмечает мимоходом: «труды ли Михаила Петровича сделали то, что Глупов кажется Глуповым, или Глупов сделал то, что труды Михаила Петровича кажутся глуповскими? Петр Великий создал Россию, или Россия создала Петра Великого?» (677–678).

Вообще сатирик не отчаивается в будущем Глупова. Он даже думает, что если система нажимания и постукивания по головам будет постепенно упраздняться, то из глуповцев еще может выйти толк. Он полемизирует с теми, которые утверждают, будто «с Глуповым относительно мирозерцания без понудительных мер ничего не поделаешь» (675). К прискорбию, оказывается, что сами глуповцы убеждены в этом. Они даже «дуреют от любви к тому, кто стучит им в головы», и становятся скучны и унылы, «если стучание почему-либо временно прекращается» (677). Но сатирик видит здесь только недоразумение и сожаление, что «никто еще не пробовал» применить к глуповцам «систему поглаживания по головке» (647). Обращаясь к ним, он говорит: «Поймите, что от вас совсем даже не так много требуется, как вы думаете; что никто не ожидает, чтоб вы непременно, не сходя с места, сделались умновцами, немедленно сказали новое слово и изобрели порох! От вас требуется только, чтоб вы оказали охоту и прилежание — и ничего больше!» (677).

В другом месте сатирик рассказывает, как глуповцы воздвигли гонение на некоего мосьё Шаликова, который скорбит о них и «думает о том, какими-бы средствами можно бы сделать из них умновцев...» (631). Глуповцы возненавидели Шаликова, потому что он — «принцип, который подрывает» глуповские «основы жизни» и нарушает сон Глупова. Настал час пробуждения и критики. Нельзя сказать, чтоб у глуповцев не было дотолы никакого нравственного принципа, не было никаких верований и мыслей. Они были. «Ты веровал, ты мыслил», обращается сатирик к глуповцу. «Это несомненно, хотя верования твои были нелепы, хотя мысли твои были поганы» (633). Теперь настала пора убедиться в этом, — и глуповец, до сих пор привыкший страдать только физически (что плюха? съел плюху, съел две — встряхнулся и пошел щеголять по-старому...»), впервые почувствовал страдания нравственные: он «в первый раз понял, что значит настоящее прикосновение к нравственным основам жизни, и какую страшную боль причиняет это прикосновение...» (634). Оттуда — остервенелая ненависть к Шаликовым, по крайней мере со стороны закоренелых глуповцев. Что же касается

других, не закоренелых, то, по-видимому, они и общественное мнение, ими представляемое, мало симпатизируют Шаликову, а масса остается к нему равнодушною (634). Во всяком случае утешительно и то, что с этой стороны нет вражды, а есть только равнодушие. Это все-таки залог лучшего будущего. Сатирик все еще верит, что в массах осталось некое благое наследие от тех мифических времен, когда Глупов назывался Умновым... От баснословного Умнова доносятся ветры, освежающие воздух Глупова... Выходит как-то так, что хотя глуповцы и поражены проказой, но «воздух Глупова чист» — и «благодаря этой чистоте» в нем «ощущается та струя честности, которая полагает непереступаемые границы распущенности глуповцев» (634–635). И сатирик, ободренный этой струей честности, обращается к глуповцу с таким увещанием: «Сойди в трущобы своего собственного сердца, о глуповец, и очисти их от наслоившегося веками навоза! И там ты отыщешь зачатки некоторой застенчивости, и там ты доскребешься до чего-то похожего на робкое признание силы добра!» (635). Больших упований на это очищение сатирик не возлагает, но все-таки думает, что таким путем глуповец может добраться до «спасительного трепета», «который не позволяет надругаться над тем, что, по общему, вселенскому сознанию, признается за добро». И затем рядом житейских примеров Щедрин показывает, в чем состоит и как проявляется влияние «честной струи».

3

Характер и основной смысл сатиры Щедрина 50-х и в значительной мере также и 60-х годов находились в самой тесной зависимости от народнической и демократической точки зрения или программы, которую Салтыков разделял вместе с другими передовыми деятелями эпохи. Если в 60-х годах у него и у Некрасова ноты умиления и смирения, звучавшие в 50-х, пошли на убыль и вскоре совсем исчезли, то это еще не значило, чтобы исчезла у них и народническая точка зрения в вопросах общественной жизни и внутренней политики. Сущность передового демократического движения 60-х годов сводилась к тому, что на первый план выдвигались интересы народа, какими они представлялись в данный момент, идеалы же интеллигенции отступали на второй план, а, главное, игнорировался и порою совсем отрицался *чисто политический* вопрос, постановка которого представлялась (да так оно и было на самом деле) несвоевременною и идущую вразрез с настоятельными интересами и вопиющими нуждами крестьянской массы. Политический вопрос подымался

тогда лишь в некоторых слоях будирующего дворянства, далеко еще не освободившегося от крепостнических традиций. Передовая интеллигенция поэтому открыто выступала против «конституционных» поползновений этого класса. Оттуда и столь известное вышучивание «конституций» в сатире Щедрина. Все упования возлагались друзьями народа на правительство или, вернее, на прогрессивные элементы в нем. Это придавало как бы некоторый «бюрократический» оттенок прогрессивным стремлениям демократов-радикалов, которые в этом направлении иногда заходили дальше, чем следовало-бы, хотя бы, например, в отношении к земской реформе, не оцененной ими по достоинству. Салтыков не переставал вышучивать земство и иронизировать над «сеятелями и деятелями» в течение всей второй половины 60-х годов и еще в начале 70-х, к великому негодованию некоторых либералов-земцев того времени и к нескрываемому удовольствию «бюрократов».

Вообще движение, оживление и все веяния эпохи реформ имели весьма мало общего не только по размерам, но и по характеру своему, с тем движением, которое охватило всю Россию в 1905–6 годах. Эпоха конца 50-х и начала 60-х годов была, конечно, великим поворотным пунктом русской истории, но, в силу самой исторической «логики» вещей, этот поворот не был и не мог быть *освобождением*, а был только *раскрепощением*. За отсутствием организованных общественных сил, это раскрепощение могло осуществиться только путем реформ сверху, проводимых «бюрократически», причем тщательно вытравлялись те «пункты» в реформах, которые так или иначе отзывались уже не только раскрепощением, а и некоторым освобождением. Передовая публицистика, конечно, отстаивала эти «пункты» как могла и умела, но за всем тем преобладающее значение и редкую популярность имела мысль, что *освобождение* есть некоторая роскошь, нужная собственно для «господ» и для интеллигенции, а народу, после раскрепощения, нужна пока только земля, сохранение общины и элементарное образование. В общем и Салтыков разделял эту мысль, хотя (надо отдать ему справедливость) своею меткою сатирой он, может быть, больше, чем кто-либо, содействовал росту освободительных идей и критическому отношению к бюрократическим основам жизни.

Сатирическое творчество Салтыкова поражает нас своею разносторонностью. Нет такой темной силы, которая укрылась бы от его пронизательного взора и не вызвала бы его гневного негодования. Он нападал на все ретроградные элементы в правительстве и в обществе, на сословные претензии дворян, на крепостничество

помещиков, на кулаков-мироедов, на новую «буржуазию», на биржевиков и дельцов, на пустословие и поверхностный либерализм в земстве, на лицемеров, ханжей, «пенкоснимателей» и т. д., и т. д. Из этого огромного репертуара мы остановимся здесь только на *бюрократии*, как на объекте сатиры Щедрина в эпоху 50–60-х годов.

«Губернские очерки» были направлены не против бюрократии как таковой, а против дореформенных порядков, против отживающих норм бюрократического произвола и еще более против крепостничества. И сам сатирик в то время был «бюрократом» — чиновником особых поручений при вятском губернаторе, потом при министерстве внутренних дел, потом вице-губернатором и т. д. Как известно, он был в этой роли чиновника, ревизора, следователя, начальника — строг, взыскателен, неподкупен, неліцеприятен, вообще являлся верным представителем нарождавшегося тогда типа либерального, просвещенного и демократически настроенного деятеля-бюрократа. Этот бюрократ, однако, хорошо понимал необходимость ограничения бюрократического произвола и в официальной записке «Об устройстве градских и земских полиций» (1857 г.) настаивал на «возвышении земского начала насчет бюрократического» и на необходимости децентрализации, утверждая, что излишняя централизация вредит местным интересам и порождает массу чиновников, «чуждых населению и по духу, и по стремлениям, не связанных с ними никакими общими интересами, бессильных на добро, но в области зла являющихся страшной, разъедающей силой» («Материалы для биографии М. Е. Салтыкова», статья *К. Арсеньева*, «Полн. собр. соч. М. Е. Салтыкова», Спб., 1900 г., т. I, стр. 66)*. Мало того, в той же записке Салтыков, задолго до введения земских учреждений, ратует за расширение земской самодеятельности, указывая на вред излишней регламентации частных интересов и правительственного вмешательства «в мелочные отправления народной жизни» (там же, 66). «Правительство не имеет надобности навязывать земству такие-то и такие-то интересы, а не те, которые стоят на первом плане у самого земства. Задача правительства ограничивается соглашением местных интересов с общегосударственными» (там же, стр. 64). Тем не менее, как только возникла опасность сословных притязаний, например, дворянских, в ущерб интересам крестьянства, Салтыков не колебался рекомендовать правительственное вмешательство и усиление бюрократического

* См. также: К. К. Арсеньев. «Салтыков-Щедрин» (в библиотеке «Светоча», С.-Петербург. 1906), стр. 19–21.

элемента. Так, в 1861 году в статье «Об ответственности мировых посредников» он ополчается против тенденций дворянско-консервативной партии, выразившихся в статье Ржевского («Несколько слов о дворянстве»), который доказывал, что выбранные дворянством мировые посредники будут на высоте своего призвания и в особом контроле не нуждаются. Салтыков, напротив, настаивает на необходимости контроля, проектируя устройство ежегодных губернских съездов мировых посредников и настаивая на участии в этих съездах представителей от правительства в лице членов губернского крестьянского присутствия и правительственных членов уездных мировых съездов (Арсеньев, стр. 82). Главным мотивом такого проекта послужило Салтыкову убеждение, что «слишком мало распространена в среде дворянства подготовка к серьезному труду, к пониманию крестьянских интересов»* (там же, стр. 81). Когда же в жару этой полемики Ржевский обозвал Салтыкова бюрократом, то сатирик открыто заявил, что это слово его не пугает, что оно вовсе не оскорбительно и только «выражает собою принцип, которого участие в жизненных отправлениях государства столь же необходимо, как и участие земства» (там же, стр. 85). В свою очередь, в жару полемики, Салтыков зашел слишком далеко: он стал доказывать, будто у нас бюрократии в собственном смысле нет, потому что нет еще самоуправляющегося земства... «Называя меня бюрократом, — говорит он, — г. Ржевский, очевидно, не сознавал, что употребляет выражение, которому в русской жизни нет соответственного понятия...» (там же)**. К. К. Арсеньев замечает, что слово «бюрократ», в порицательном смысле, пускалось в ход в те времена преимущественно сторонниками помещичьих интересов и сословно-реакционных стремлений. «Бюрократами слыли тогда в известных сферах Николай Милютин, Яков Соловьев и другие деятели редакционных комиссий; неудивительно, что к тому же сонму оказался сопричисленным и Салтыков, и столь же понятно, что он отнесся довольно хладнокровно к этому сопричислению» (там же, стр. 90–91).

«Бюрократизм» Салтыкова состоял в том, что, как только дело шло о защите народных интересов и если можно было надеяться найти эту защиту во вмешательстве правительственной власти, он,

* Курсив мой.

** Этот эпизод прекрасно комментирован В. П. Кранихфельдом, где читатель найдет освещение вопроса о «бюрократизме» Салтыкова («Мир Божий», 1904 г., № 7, стр. 239 и сл.).

не колеблясь, предпочитал бюрократическое воздействие или контроль общественной инициативе, ибо плохо верил в бескорыстие и достоинство этой последней.

Но это нисколько не мешало сатирику сознавать и обличать темные стороны бюрократии, в особенности высшей, в которой он усматривал только замаскированную форму сословной (дворянской) опеки, с удивительной меткостью разоблачая реакционные и сословно-эгоистические тенденции в «политике» «помпадуров». Уже в ответе Ржевскому он, между прочим, говорит: «Где взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократию, отдельную от русского дворянства — это тайна, разгадки которой следует искать в трущобах сердец ноздревских...» (там же, стр. 85). И затем в ряде блестящих очерков, озаглавленных «Помпадуры и помпадурши», начатых в 60-х годах и продолженных в 70-х, потом в знаменитых «Ташкентцах» (70-х гг.), сатирик — с этой именно точки зрения — освещает «внутреннюю политику» администраторов вроде Удар-Ерыгина, Митеньки Козелкова и т. д., и т. д. Перед нами великолепная галерея типов, изображенных резко сатирически и зачастую карикатурно, но в то же время поражающих глубокою жизненностью и зловещею правдою художественного воспроизведения. Из этой жизненности и правды сама собою выделяется резкая *критика* всего строя нашей государственной жизни, придающая сатире Щедрина значение и смысл сатиры политической. Такой высоты она достигла в 70-х годах, но начало этого подъема было сделано в конце 60-х годов — в знаменитой «Истории одного города» <...>.

